ТРЕВОГИ СОВЕСТИ

ГОД назад один рецензент, оценивая появившуюся в 1980 году повесть Проскурина «В старых ракетах», предположил, что это произведение способно несколько озадачить критиков: «Не проскуринская вроде бы эта вещь...»

Именно «вроде бы». Я мог бы повторить эту существующую оговорку, рассматривая сегодня еще одну новую повесть Петра Проскурина — «Черные птицы», опубликованную только что журналом «Огонек». Но повторить для того, чтобы сказать: несмотря на необычность формы, Проскурин остается здесь Проскуриным, смело и интересно продолжаям развивать одну из наиболее жизнеспособных истовских традиций русской психологической прозы. Эта «раздумчивая» проскуринская проза, в чем давно уже убедился читатель, несет всегда мощный идейный и нравственный заряд.

Повесть «Черные птицы» опирается на ярко выраженный философский подтекст. Как подойти к ее истокованию? Можно, скажем, так, как сделал это Эрнест Хемингуэй в своей самооценке любимого дитяца «Старик и море». Он утверждал, что в той повести-притче нет никакой символики. Мол, старик — это старик, мальчик — это мальчик, а рыба — это рыба... Но не забудем, что маститый писатель счел важным добавить: «За пределами повествования происходит то, что ты видишь, когда знаешь. А писатель обязан знать многое».

Сам по себе сюжет повести «Черные птицы» довольно несложен, хотя и неожидан, и мне не хотелось бы давать читателю скучный его пересказ. Скажу лишь, что главные его струны настроены на неодолимом авторском желании обнажить со всей резкостью алогизмы жизни, проявляющиеся в некоторой нашей общественной среде. Такой средой здесь выступают совсем немногочисленные персонажи из мира искусства — преимущественно музыкального.

Писатель, как мне кажется, избирает редкую для повести жанровую форму, построенную

почти всецело по принципу **антитезы**; форму, способную усилить эмоциональную окраску и самой авторской речи, и речи персонажей. Но это требует особого авторского внимания к раскрытию тайных пружин человеческой души, а значит, к раскрытию характеров.

Так что же за характеры рисуют на сей раз художник-психолог Петр Проскурин.

Думаю, что главным героем, движущим всю композицию повести, утверждающим основное гуманистическое ее начало, предстает Глеб Шувалов — талантливый композитор с недолгой шумной славой. С недолгой потому, что в 1941 году он добился снятия брони и добровольцем отправился в действующую армию. Собственно, с этой «сказочной дали» и начинается повесть. Всего через месяц Глеб погиб, но память о нем оказалась нетленной. О его музыке и сейчас говорят: «вулкан», «очистительная гроза». «Боже мой, откуда ты такой...» — с поражающим удивлением говорила ему жена Тамара. Много позже, уже к старости, она скажет про мужа и другое: «Глеб нес в мир героического начало. За то и погиб...»

В последний миг перед уходом на фронт Глеб сел за рояль и сыграл (только для Тамары) пришедшую ему «грандиозную мысль» — свою первую запись из задуманного им цикла «славянских языческих молитв». Он назвал это произведение «Молитва солнца». Оно прозвучало для Тамары и как «Молитва любви». Это была божественная, всепотрясающая музыка. Петр Проскурин сумел передать впечатление о ней так, что читатель как бы сам слышит личную сполохи звона, мир скорби, обновления и солнца...

Образ Глеба Шувалова витает

над всей повестью, но автором рисуется он преимущественно опосредованно.

Скажем сразу же и о жене, вернее вдове Глеба — Тамаре Иннокентьевне, жившей до замужества в старинной артистической семье. Глеб предрекал Тамаре: «Ты вырастешь в громадную певицу, у тебя будет мировая слава, вот посмотришь... Я напишу для тебя самую лучшую оперу...» Война беспощадно сломала радужные мечты...

Мы встречаемся с Тамарой Иннокентьевной в разные периоды ее жизни. Здесь не представляется возможным характеризовать ее довольно извилистый жизненный путь. Не могу не сказать, однако, что ася она, измученная рефлексией, вроде бы специально соткана из кричащих противоречий. Она изменяет под тяжестью своих жизненных ошибок, но вверх в ней все же берет бескомпромиссность.

Я прерву здесь беглое суждение о характерах, ибо для дальнейшего совсем не лишне сказать о названии повести. Почему «Черные птицы»? Нет, не потому, конечно, что Тамаре как-то в час нервного возбуждения привиделся черной птицей с неловко подвернутым крылом ее домашний уникальный концертный рояль. Куда вернее предположить, что за черными птицами проглядывают те самые жалкие, страшные люди, которых еще Герцен называл «люди-травы», «люди-слизняки». А слизняки, как известно, не так уж безобидны!

Нетрудно усмотреть дальний авторский прицел, когда даже в период душевного спокойствия в то время тридцатипятилетней Тамары мы встречаем такой диалог на лоне природы:

«— Да, Саня, я женщина неприкаянная и опасная, вот возьму за холдную тебя, презрашу а черного лебедя... Нааааааааа оставлю

плавать здесь, в лесном озере.

— Почему а черного, Тамара?

— Ты же черный, давно известно...

— А ты, ионечно, белая, — по-детски обиделся он. — Чистая и безгрешная!»

Саня — это и есть тот самый Александр Евгеньевич Воробьев (первая скрипка среди «черных птиц»), который замаскирован под respectableного и даже талантливое деятеля искусства. Вылупить этот сложнейший характер далеко не просто. Вот почему писатель проходит с этим малоприятным персонажем через всю повесть, тщательно прослеживая его движение к окончательному духовному краху.

Более половины жизни понадобилось Тамаре Иннокентьевне, чтобы распознать дьявольскую природу своего «друга», способного во имя личной славы «убить душу» погибшего на фронте бывшего товарища, оборвать самую память о нем. Читатель поймет, чего стоило Тамаре Иннокентьевне бросить в лицо своему лживому поклоннику жестокие слова о том, что для обретения достигнутой власти на своем попроче и всяческих почестей ему «пришлось поломать, перешагнуть» через многие людские судьбы, чтобы «никого вперед себя не пущать». Слова эти были сказаны еще далеко до финала; когда Тамара еще не знала и не понимала многого. И наане же потрясение она должна была испытать, услышав от дорогого ей человека, совестьливого и талантливого музыканта («вечного соперника Глеба») Димы Горского такое откровение:

«Мне жаль, но твой Саня всего лишь удобная посредственность... От его баскрылой музыки никто не захочет бросить слома голову а огонь!»

Не сразу поверила Тамара Иннокентьевна а такое обличение. Но оно запало ей а душу. Понадобилось еще двадцать лет, чтобы эта женщина трудной судьбы обрела свое нравственное право повторить слова Димы Горского, да еще а более жесткой форме. Она говорит Сане а момент их оончательного разлада: «Все подразниваешь под себя, под сарость... утрачиваются критерии... все причисляется под одну гребенку, талант и се-

рость приводятся а одному знаменателю. А жиаого, вечного вы не умеете создать...»

Откуда же произрастает беда таких «слизняков», как Александр Евгеньевич? От их творческой немощи, умопомрачительной зависти к таланту — отвечает своей повестью на такой вопрос автор. Это можно понять из прорвавшегося самобичевания Александра Воробьева. Вот, мол, и дважды лауреат а руках власти, и орденами не обойден, а то, ради чего стоило родиться и жить, так и не пришло. И вершина так же недоступна и манит...

А помогают произрастать подобной беде «черные птицы» поменьше рангом, зависимые от высокого положения Александра Евгеньевича Буквально мимходом, с полной художественной достоверностью развенчивает их Петр Проскурин. Это такие злодид-травы», всегда поющие аллилуйю удобному для них шафу, как Демьян Солоницын — популярный песенник и поэт, умеющий на лодах рассчитывать каждое свое движение и слово, хорошо знающий, как, каким путем «бодро шагает вверх» не очень то уважаемый им деятель. К такому же понимающим удобством пребывания Александра Евгеньевича у руля относятся и образы ловкого «протравленного дирижера» Вайксберга, музыковеда Парьева. Поистине люди-травы! Крах их предreshen в живом потоке жизни. Об этом повесть.

Скажу а заключение, что повесть «Черные птицы» принадлежит к тем, что обогащают озонем наш общий животворный организм. Озонирование, как мы знаем, убивает микроорганизмы.

Не скрою при этом: хочется, чтобы в отдельном книжном издании этой повести автор избежал некоторых излишеств, в частности приобретающих коегде оттенки мелодраматизма, а в финале даже несущих нечто «мифистифическое», присущее скорее жанру чистой легенды. Думается, что от такой деликатной дополнительной авторской редактурь вполне удавшаяся а целом повесть еще более выиграет.

Григорий КУКЛИС